

## ПАМЯТИ И. А. БУНИНА

### 1.

«Ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего, и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: я думаю, что я был хороший моряк»...

И. Бунин. «Бернар». 1952 г.

Собрали письма его. Сложили по датам, перечитали... Тоже и фотографии: юноша-Бунин, надпись крупным, острым почерком: «Когда впервые напечатался»; еще снимок, более поздний, надпись: «На полпути земного бытия»; затем — Бунин с Чеховым в Ялте в 1902 году, на обороте карточки: «Чехов часто просил «сыграть» что-нибудь и я делал вид, например, пьяного и «жаловался на семейную жизнь», и он хохотал от всей души»...

На последней фотографии нет надписи — снимал я сам в прошлом году, и — может быть, она вообще последняя из фотографий И. А.? Как обычно, не смог впопыхах поставить верную диафрагму, а в комнате свету было не так много, да и к вечеру, — получилось темновато, особенно — Вера Николаевна, но И. А. довольно отчетливо, с бодрым поставом головы и плеч...

Первое письмо И. А. — от 23. 8. 1951 года. «Разносное»: в одной из своих рецензий определил я Бунина как «реалиста». — «Называть меня реалистом значит... не знать меня, как художника»... — писал И. А. Каюсь: знал мало, — очень уж долго имя Бунина стояло для меня лишь в

«академических святцах», творчества же его за рубежом не знал совершенно. Правда, в 1927 году, помнится, «Книжные новинки» издали в СССР «Митину любовь» и что-то еще из зарубежного Бунина, но мне так это и не попало. Тем радостнее было здесь, в эмиграции, «открыть» новые страницы русского творческого слова — бунинские страницы, относящиеся несомненно к золотому фонду нашей литературы. «Да, я не посрамил ту литературу, которую полтора года тому назад начали Карамзин и Василий Афанасьевич Бунин, по незаконному рождению своему от А. И. Бунина и турчанки превратившийся (по своему крестному отцу) в Василия Андреевича Жуковского», — писал мне И. А. 23. 9. 1951 года. К этому времени я прочел и перечёл по-новому многое бунинское и творческий облик замечательного художника стал для меня отчетливее: да, я был повинен в упрощенчестве...

Многие зачисляли и зачисляют Бунина по ведомству «прошлого» нашей литературы, как «блестящую и последнюю страницу русского классического реализма». Так читал я теперь, после кончины И. А., в ряде некрологов, русских и многих западных. «Бунин принадлежал к старой школе, — писала, например, одна из крупных шведских газет. — При вручении нобелевской премии двадцать лет тому назад, худой и высокий, с серебряными волосами и утонченными мане-

рами, он казался явлением из уже исчезнувшего, потонувшего мира». — Всё это, разумеется, дилетантско-репортерское, некритичное...

## 2.

«Лежит кадилыница —  
вся черная внутри  
От угля и смолы, пылавших  
в ней когда-то.  
Ты, сердце, полное  
огня и аромата,  
Не забывай о ней. До  
«черноты спорит...»  
И. Бунин. «Кадилыница».

Нет, конечно, Бунин никогда не был «продолжателем» русского классического реализма, — разве лишь его крестником. Аксаковское, лермонтовское, тургеневское, толстовское питало его мастерство, язык — особенно, но не повторялось им. — Бунин был новореалистом, в творчестве которого классические традиции подверглись значительным изменениям: он субъективизирует реалистический метод — творческий отбор и творческое выражение. «Реалистическое» у него теряет эпическую ровность дыхания, пронизывается переживаниями персонажа и выраженного в этом персонаже автора, — драматизмом, философской настроенностью и всегда лиризмом этого переживания. Изображение согревается «сердцем, полным огня и аромата», опосредствуется эгоцентрически, становится интимнее, проникновеннее. В связи с этим и центр композиции, внешней и внутренней, перемещается с сюжетных узлов на раскрытие внутреннего мира героев. Число последних всё уменьшается, они всё более «авторизируются»; в повествовании опускаются многие бытовые штрихи, давая место лирической (лирико-философской) теме, которая, высвобождаясь, начинает звучать всё горячее и выразительней. Тема эта прежде всего — о красоте и богатстве человеческого чувства, и неудивительно поэтому, что реалистическое воплощение этой темы у Бунина стоит иногда плечом

к плечу с символистским и надреальным... Процесс этот очень легко проследить в бунинском творчестве, начиная уже с «Деревни» (1910 г.) и «Суходола» и до вершин «субъективизации» поэтического выражения — в «Митиной любви» и «Жизни Арсеньева».

Изгнание, путешествия (Италия, Египет, Алжир, Тунис, тропики) ширят творческие горизонты, обостряют пристальность:

«... я обречен

Познать тоску всех стран и всех времен».

«Меня, — пишет И. А., — занимали вопросы психологии, религиозные, исторические»... Личное, авторское, как подпочва творческого, стремится в «надопытное», вечное:

«... Что года

Горестей, изгнания! Неземное

Сердцем он запомнил навсегда»...

«Субъективный» реализм Бунина был несомненно новым этапом классического реализма в русской литературе, а отнюдь не «заключением» последнего. И, хотя Бунин-художник краски и образы черпал неизменно из одной главной сокровищницы — России прошлого, — по методу своему он «новатор», как говорят в России теперешней, а сам метод его принадлежит России будущего. В самом деле: эстетическая особенность бунинского реализма состоит в том, что весь творческий процесс — отбор объектов отображения, оценка их и художественное выражение — всегда подчинены авторскому переживанию действительности, идеально свободному от чьей-либо чужой воли, и это переживание — лиризм — ощущается как часть самого изображения.

Известно, что так называемый социалистический или партийный реализм в СССР как раз и лишает автора права на субъективный отбор, оценку и переживание: оценки и переживания действительности советскому творцу предписаны заранее, обрекая его на творческую импотенцию и ремесленные литера-

турные суррогаты.\*) Вероятно, во всем мире не найти такого мощного, отчаянного подспудного стремления выразить себя, как у людей творчества в нашей стране. И я уверен, что «субъективный» реализм — ближайшее будущее русской литературы, когда она освободится от татарского ига партийной одержимости...

## 3.

«Молчат гробницы, мумии и кости, —  
Лишь слову жизнь дана»...

И. Бунин. «Слово».

Редкая внутренняя свобода и цельность творческого вкуса, скульптурность изображения и великолепный язык — вот неповторимые черты бунинского мастерства. Кто-то из критиков назвал реализм Бунина «пластическим». Я уже приводил как-то в качестве примера скульптурности слова небольшое стихотворение Бунина, помещенное в № 28 «Нового журнала», — «Искушение». В одном из более ранних, напечатанном И. А. на машинке, списке первая строчка звучала так:

«В старой книге картинка:  
свивается зыбка по Древу», (и т. д.)

\*) Всё упрочищающиеся в качестве нормы. Например: как катастрофически мало подлинного можно назвать в литературе, драматургии — особенно, обзревая итоги истекшего года! Что назвать? «Русский лес» — Л. Леонова? («Знамя» № 10 и дальше), или «Доброе имя» — К. Симонова? («Звезда» № 8). Да и стоит ли начинать обзор? И совсем уже трагическое впечатление производят попытки партийной опеки «оживить» творчество, не выпуская его из гиблых своих объятий, сделать «уступки» творческой свободе — не снимая партийного заказа. — «Не следует навязывать каждому драматургу, — диалектически «за здравье» начинает К. Симонов на 19-ом съезде Правления Союза писателей СССР, — ... требование поставить в центре своей пьесы положительного героя» — и диалектически же кончает «за упокой»: «Но вся драматургия в целом не только может, но и обязана решить эту задачу». (!)

— как хорошо этот вариант подчеркивает именно пластическую природу образной системы этого стихотворения!

Из «пластического» у Бунина-поэта назову «Листопад» (поэму, за которую автору была присуждена Пушкинская премия). Прочитую же хотя бы такое:

Это волчьи глаза или звезды — в стволах,  
на краю перелеска?

Полночь, поздняя осень, мороз.

Гольный дуб надо мной весь трепещет  
от звездного блеска.

Под ногою сухое хрустит серебро.

(«Сказка о козе»)

Или вот еще одно стихотворение, тоже — как гравюра. Приведу его целиком, потому что оно во многих местах исправлено И. А. и в этом, измененном, виде, вероятно, неизвестно:

## Моя молодость.

Колеса невиский снег взрывали и скрипели,  
Два вороньих надменно пролетели,  
Карельный кузов быстро промелькнул,  
Блеснувши глянцем стекол незамерзлых,  
Слута, сидевший с кучером на козлах,  
От вихрей голову нагнул,  
Поджал лубу, синевшую цетиной,  
И ветер веял красной пелериной  
В орлах на позументе золотом...  
Всё пронеслось и скрылось за дворцом,  
В темнеющем буране... Зажигали  
Огни в несметных окнах вокруг меня,  
Чернели трубо баржи на канале,  
И на мосту, с дыбящего коня  
И с бронзового юноши нагого,  
Повисшего у диких конских ног,  
Дымилась кочья праха снегового...  
Я молод был, безвестен, одинок  
В чужом мне мире, сложном и опромном.  
Всю жизнь я позабыть не мог  
Об этом вечере бездомном.

Бунин-поэт был, вероятно, «академичнее» Бунина-прозаика, более связан с поэтической традицией реализма. Но вот в присланном мне сборнике И. А. подчеркнул целый ряд стихотворений и отдельных строф, эту точку зрения в какой-то мере опровергающих. Подчеркнутое очень интересно теплотой религиозно-фило-

софских мотивов. Это несомненно ждет еще своего исследователя. На-пример:

Есть ли Тот, Кто должен мерой мерить  
Наши знанья, судьбы и года?  
Если сердце хочет, если верит,  
Значит — да...

Или, чтобы заключить этот фрагмент статьи, такое стихотворение (над ним И. А. поставил чернилами два крестика):

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — Господь сына блудного  
спросит:  
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слез не успею ответить,  
К милосердным коленям припав.

Поразительны у Бунина-прозаика выпуклые, почти осязаемые зарисовки, светящийся пейзаж:

«...высокий зеленый огонь семафора, — особенно прелестный в такие оумерки в березовом голом лесу, — и поезд со стуком стал переходить на другой путь»...

(Митина любовь)

«...лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы за съплющенные точно стекляным зерном колосья, тысячами часиков знойно торопились в жнивьи и в снопах кузнечики, точно песчаной пустыней простирались вокруг светлые поля»...

(Жизнь Арсеньева)

#### 4.

«Умейте же беречь  
Хоть в меру сил,  
в дни злобы и страданья  
Наш дар бессмертный — речь.  
И. Бунин. «Слово».

Язык свежий, точный, внутренне динамический... А между тем именно в области языка Бунин был наиболее «классичен»\*), здесь он — весь в границах классических языковых форм, классической поэтической лексики. Ему чужды, даже враждебны пойки «языковых новшеств», неизбежно приносящие с собою известное

количество уродцев-неудач. Тем удивительнее, с каким блеском пользовался он классической сокровищницей нашего языка и как много черпал, не повторяя и не повторяясь, из ее бесконечных возможностей.

Строгость Бунина-критика общеизвестна. Но строг, очень строг был он и к самому себе. В нескольких книгах, присланных мне года два тому назад Иваном Алексеевичем, есть много исправлений чернилами, свежих, сделанных перед отправкой. Разглядывая эти исправления, поражаешься придирчивостью художника к своему языку: ведь вот казалось бы превосходно найдено слово, — нет, исправил! и стало еще выпуклее...

Относительно строгости к другим: отзывы были «без обиняков», прямые, но никогда не «свысока» к тем, кто хотел совета. Я лично навсегда сберегу благодарность Ивану Алексеевичу за доброжелательный, ободряющий отзыв о моих писаниях и столь важные для меня указания. Так, он писал мне в августе 1951 года: «Девушка из бункера» очень интересна, хорошо, совсем хорошо написана, но была бы еще лучше, если бы (была)

\*) И консервативен: его удивляла, например, терпимость к новой орфографии. Письмая мне однажды отпечаток статьи проф. Н. Кульмана «О русском правописании» (1923), он делает на полях ряд энергичных приписок, например: «Война и мир» — так и не узнаешь никогда, что это за «мир» — вселенная или мирная жизнь». «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они — ?» «Я был избран в Академию в 1929 г., но в так называемое «Второе Отделение, где было всегда только 12 человек... Наше отделение в работе по орфографии участия не принимало». А отдельно пишет мне: «Дорогой Л. Д., послал Вам вчера записочку и забыл... усердно просить вас подумать о том... безобразии, которое есть «новое правописание» и которое надо хоть как-нибудь (до поры до времени) исправить»...

написана немного более сжато». — Переделывая вещь для книги, выпущенной недавно издательством им. Чехова, я многое сократил. И еще, о последней части романа: «В «Гранях» с большим интересом, а иногда и с волнением прочел «Между двух звезд»: ново по теме, и есть горячие отличные места, только, по-моему, есть и ненужные житейские подробности». — Некоторые из них выкинул я, следуя совету И. А.

## 5.

«Хлябь, хаос — царство Сатаны  
Гудящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией»...

И. Бунин. «День памяти Петра»

Еще об одном, чего нельзя пропустить. В свое время «там» очень хотели сделать Ивана Алексеевича «возвращенцем». Нет ничего удивительного в этом желании причислить к «своим» такое имя! Но несовместимость бунинского мастерства, по природе своей независимого, с творчеством на партийной корде — была бы чудовищной. Вот уж когда действительно, а не газетного «бума» ради, всяким возможным «благам» противостояла чистая свобода! Но я думаю, что проблемы выбора для И. А. Бунина не существовало. Он не мог не знать, какой угрозе эта свобода подверглась бы там, где даже вольнолюбивейшие тени прошлого, например — столь дорогой ему Лев Толстой, — подвергаются посмертной переделке в «созвучные» эпохе ограниченности\*). Художник великой независимости, И. А. всякое покушение на свободу творческого духа отвергал категорически. И тогда, когда «испив чашу несказанных душевных страданий», уехал в изгнание (см., например, его «Несрочная весна», «Красный генерал» и др.), и в течение всей своей жизни. Не зная компромиссов...

В книге «Избранные стихи», присланной мне И. А. в сентябре 1951 г., есть одно из ранних его эмигрантских стихотворений — «Русская сказ-

ка». Посылая книгу, И. А. добавил к заглавию чернилами: «времен Ленина». Привожу эти стихи:

## РУССКАЯ СКАЗКА

времен Ленина

В о р о н

Ну, что, бабушка, как спасаешься?  
У тебя ль не рай, у тебя ль не мед?

Я г а

Ах, залетный гость! Издеваешься!  
Уж какой там мед — шкуру пес дерет!

Лес гудит, свистит, нагоняет сон,  
Ночь и день стоит над волной туман,  
Окружен со всех с четырех сторон  
Тьмой да мглою сырой островок Буян.

А еще темней мой prognivший сруб,  
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,  
А в окно глядит только голый дуб,  
Под каким яйцо закопал Кощей.

Я состарилась, изболела вся,  
Сохраняючи чортов тот ларец!  
Будь огонь в светце — я б погрелась,  
Будь капустный клок — похлебала б щец.

Да огонь-то вишь, в океане — весть,  
Да не то что щец — нету прелых лык!

\*) С тяжкой руки Ленина, окрестившего великого отрицателя насилия «Зеркалом русской революции», Льва Толстого в недавние дни 125-летнего его юбилея сделали чуть ли не воинствующим защитником заказа в творчестве. В таком именно духе производится, например, разбор толстовского трактата «Что такое искусство?» в «Сборнике статей и материалов о Толстом» (Изд. Института миров. лит. им. Горького. Ак. наук СССР. М. 1951). На самом же деле Толстой-художник был, конечно, бескомпромиссно чужд утилитаризму в искусстве. «Цель художника, писал он, не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить людей любить жизнь в бесчисленных, никогда неистощимых ее проявлениях». Такой была и эстетика Толстого — эстетикой любви, эстетикой сердца, — той единственной среды, в которой сплавляется «я» и «мир» художника в творческую гармонию. Еще более пронизана творческим «я» художника эстетика Бунина...

## В о р о н

Чорт тебе велел к чорту в слуги лезть,  
Дура старая! неразумный шлык!

Великолепная муза Бунина творческой свободе осталась верна до конца!

## 6.

«Настанет день — исчезну я,  
А в этой комнате пустой  
Всё то же будет: стол, скамья  
Да образ, древний и простой»...

И. Бунин.

Помню, в июле прошлого года, когда был в Париже, покойная ныне Н. А. Тэффи сказала: — Вы сегодня вечером у Бунина? Если любите его замечательное остроумие, заговорите о... (она назвала тему). — Но мне не пришлось заговаривать... Как только явились на маленькую, в два дома всего, улочку Оффенбаха, так сразу и влип ушами в то, что говорил И. А. И — как говорил! — Минутами позже пришел В. А. Маклаков. Иван Алексеевич был превосходно настроен. — Ну — как, папаша? — кричал он В. А. чу. — Ну да: папаша! Вы же старше меня...

— Да вот плохо слышу, — отвечал В. А., так и сияя здоровьем.

— Поделом-ом вам...

Не запомнил, почему «поделом», но смеялся от души: так было всё «втопад». Втопад были многие из острых отзывов И. А., а иные, с которыми внутренне и не соглашался, запомнились по отвлеченной, так сказать, яркости. Сидели мы долго...

А в следующий приход, за ужином, просидели вовсе допоздна, и я все спрашивал Веру Николаевну, не пора ли нам домой, не утомили ли И. А. — Он сам скажет! — успокаивала нас В. Н., а Иван Алексеевич оживлен был чрезвычайно. Расспрашивал кое о ком из знакомых только по журналам. Например — о критике Н., уехавшем недавно за океан. Какой

он? — Весьма, говорю, талантлив, а из себя — бородатый. Впрочем, бороду теперь сбрил, хотя вообще бреется неохотно. — Ну, это вот и я не бреюсь... — поднес И. А. руку к щеке (а выбрит был превосходно). Много рассказывал. — О Толстом, о Горьком, Чехове, и кое-что в рассказах перекликалось с его «Воспоминаниями», и особенно было интересно «поинному» их слышать... Запомнился юмор И. А. Например, рассказывал он, как в нацистской Германии — проездом — задержало его Гестапо:

... — А я по-немецки знаю только: «вас ист дас?», «битте цален» и «нох ейн бир». Он (полицейский) говорит «Шюйве муа», а что мне сказать? Сказать «Вас ист дас?» — как-то банально. «Битте цален» — не идет сюда, «Нох ейн бир» тоже не годится. И иду молча...

В этом году в мое посещение Иван Алексеевич был уже очень слаб. Из писем знал, что он много болел, и следы этих болезней отчетливо сказывались на его силах. И — на осунувшемся лице В. Н. Вид у него был такой, что я с трудом в течение вечера преодолевал внутреннюю связанность от тяжелого первого впечатления. Как и прежде, И. А. вел разговор, говорил о начатой им работе о Чехове, — «Хочу кончить к юбилею»... просил меня прочесть вслух один небольшой фрагмент из его воспоминаний, но видно было, что говорить ему утомительно. Кроме нас с женой, за ужином были супруги Алдановы, и, хотя Марк Александрович мастерски выправлял паузы и кочки разговора, напряженность была, несмотря на уют...

А потом — два или три письма из Парижа и — долгое молчание. И — известие от 8-го ноября...

И так же будет залетать  
Цветная бабочка в шелку,  
Порхать, шуршать и трепетать  
По голубому потолку...